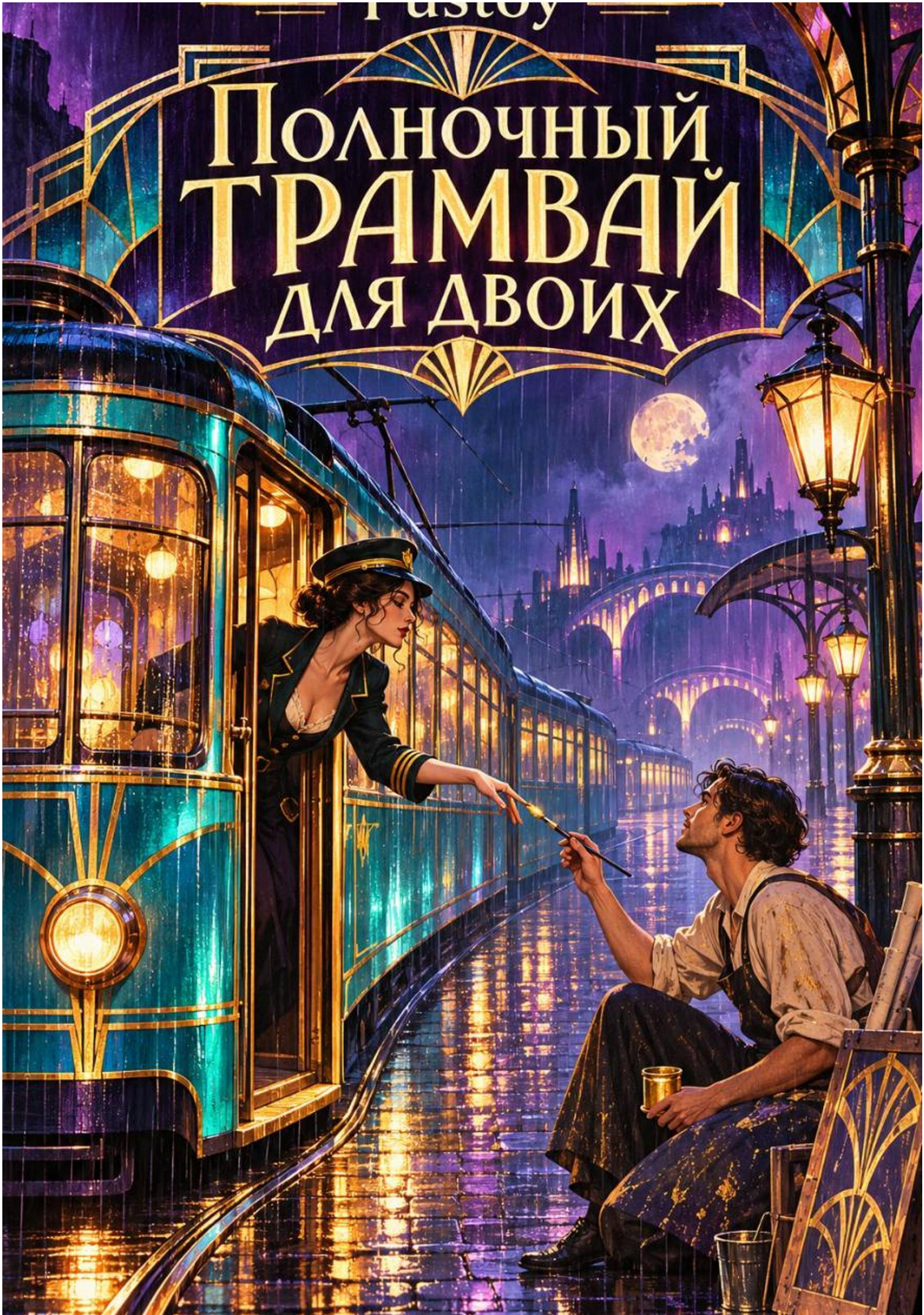
Paustov

# Полночный трамвай для двоих



Pustoy

# Полночный трамвай для двоих

«Автор»
2026

**Pustoy**

Полночный трамвай для двоих / Pustoy — «Автор», 2026

У полночного трамвая Листена два вида билетов. Медная монета довезёт до дома. За другой придётся назвать поступок, на который вы когда-то не решились. Кондуктор Нора Грай знает, как возвращать пассажиров из несбывшейся жизни, пока мастер вывесок Тео Дорн не вписывает в расписание название исчезнувшей остановки. Теперь с каждым рассветом город теряет самого Тео. До воскресенья у них есть несколько ночей, старый театральный вагон и один упрямый двор, куда оба боятся вернуться. А ещё — обещание однажды поужинать вдвоём при дневном свете. За такой билет монеты мало.Текст романа и иллюстрация обложки созданы с помощью искусственного интеллекта.

© Pustoy, 2026
© Автор, 2026

# Содержание

Глава 1. Запятая на стекле 6
Глава 2. Человек с изнанки 11
Глава 3. Пассажир без сдачи 16
Глава 4. Дом наизнанку 22
Глава 5. Шрифт для дождя 26
Конец ознакомительного фрагмента. 29

# Pustoy
# Полночный трамвай для двоих

Pustoy
**Полночный трамвай для двоих**

# Глава 1. Запятая на стекле

У человека, который стучал в запертую дверь вагона, на щеке синела запятая. Нора Грай заметила её прежде, чем увидела голые ноги, подвёрнутые до колен брюки и два щегольских ботинка под мышкой.

— Утонул кто-нибудь? — спросила она через стекло.

Человек показал ей ботинки. Видимо, в них и заключалось всё его несчастье.

Дверь полагалось открывать по звонку. Нора глянула в конец улицы. Дождь так вымыл брусчатку Калачной площади, что в ней полагалось отражаться звёздам. Отражалась одна вывеска «Тёплые бёдрышки», и у человека с ботинками получилась алая копна вокруг головы.

Она отодвинула засов.

— Скорее, пока у вас там ещё что-нибудь на вывеске не зажглось.

Он поставил обувь на площадку, отжал полу пальто и отчётливо произнёс:

— Двенадцать минут назад я сел в ваш трамвай. До того как он сюда приехал. Я рассудил, что вам об этом следует знать.

Нору огорчало, когда в начале смены попадался человек, заранее приготовивший вступительную речь. Усталого, пьяного и даже того, кто собирался умирать, можно было перебить словами «Вот вам сухое полотенце». Этого типа сразу выдавали сослагательные наклонения.

— Только у нас полы утром мыли. Кто вас впустил?

— Дверь стояла открытой. Вагон был пуст. На стенке висела бумажка «Оплачивайте до отправления». Я оставил две монеты и пошёл искать служащего. Тогда трамвай пропал.

— Куда пропал?

— А я откуда знаю? Ваш трамвай.

Нора возразила бы, да из-под откидной скамьи возле самой двери выкатились две монеты. Одна упала плашмя. Вторая прокатилась до ножки и, пару раз звякнув, легла друг на дружку с первой, как будто они отправились на прогулку вдвоём.

В лобовое стекло дважды постучала костяшкой водитель Эдда Вёль. Главные часы во всей восточной части Листена — площадной колокол на здании мясного рынка — собирались ударить полночь. Минутная стрелка совершала последнюю попытку добраться до верхней зарубки. В полночь из павильона полагалось выходить, имея фонари, первого пассажира либо запись «пуст», а также здравый смысл. С первыми тремя удавалось справиться; с последним в ночной службе всегда испытывали затруднения.

Нора подобрала деньги.

— Куда вам?

Человек оглянулся через плечо, словно ему требовалось прочитать адрес у себя на спине.

— Сейчас? Домой. На Тесовую.

— Билет в один конец — три пятачка.

— Я в первый раз ехал только до рынка.

— Раз вы два раза ездите одной и той же ночью, считайте, дёшево отделались.

Он засмеялся и прибавил пятачок. Сделал он это чрезвычайно ловко: обе руки держали башмаки и пальто, монета выпрыгнула словно из-под ногтя. Пока Нора пробивала кружок, мужчина одним движением натянул ботинок на мокрую ногу. Второй не поддавался. Он повоевал с ним, стиснув зубы, и сдался.

— А что сталось с ногами? — спросила Нора. — Почему они отдельным багажом?

— Тот вагон исчез подо мной. Я оказался в луже по щиколотку, где вообще никогда не было рельсов. Боялся испортить обувь.

Влажное пятно, которое он оставил на полу, заканчивалось ровным зубчатым краем, как от ножниц. Дождевая вода так не высыхает. Нора стёрла носком его следа два зубца. Край тут же восстановился.

Потом ударил колокол; с каждым ударом дерево в поручнях отзывалось под ладонью, начиная с самого близкого. На двенадцатом вагон дёрнулся, передние колёса неспешно нашли на выезде стык. Калачи на площади ещё лежали в пустых оконцах, золотые и полые, несъедобные для тех, у кого было меньше пяти пятачков в кармане. Их пекли из папье-маше, чтобы лавка днём и ночью смотрелась хлебосольной.

— Как вас звать?

— Тео Дорн. А зачем вам?

— Пропажи бывают. Следует знать, что кричать.

Вместо ответа он провёл босой пяткой по ребру ступеньки и поднял взгляд. Перед тем как улыбнуться, он всякий раз, как Нора вскоре обнаружила, ненадолго становился совсем серьёзным. Так когда-то дед её проверял, не криво ли в сапоге сидит колодка.

— А вас?

От прочих пассажиров этому обычно хватало протянуть большой палец к нагрудной бляхе. Нора с удивлением обнаружила, что близко к бляхе его, напротив, подпускать не хочет.

— Грай. Садитесь, Дорн. Сходить только на остановках, где я открываю.

— А как я тогда сошёл в первый раз?

— Навык, вероятно, врождённый.

У Золотой дудки взяли троих трубачей, каждый считал нужным ехать со своей трубой на коленях и делать знаком, что музыка спит вместе с ним. Возле Канатной два мальчика передали Норе корзину с накрытым белым полотенцем горшком. Она поставила горшок на колени бледному, точно ещё поднимающееся тесто, младшему трубачу. На Пёсьем повороте садился большой добрый пёс с кошельком на шее. Пёс прекрасно знал, что должен сесть сзади, сразу поднял переднюю лапу на место, занятое Тео, и смотрел на Нору.

— Ну вот, — сказала она псу. — Раз послал хозяина одного в театр, теперь уж изволь ехать с соседом.

Тео пересел. Сухие носки нашлись у него во внутреннем кармане. Аккуратно вывернул их, один, другой, маленьким отточенным ножом убрал катышек из-под заплаты. Нора почему-то задержалась рядом допродать трубачу билет до терм. Он спохватился, что жена ушла в гости и дом будет заперт.

— Я сегодня на Линялой, — сказал он Норе. — Пса там не высаживайте. Хозяйкин от него театр в другую сторону. И скажите Бусе, что суп я привезу.

Нора свистнула Эдде. Та притормозила на Линялой. Уличный газовый фонарь под вензелем торгового товарищества мерцал, отвешивая грязно-жёлтые поклоны. Все заметили, как из-под ножек скамьи — той, где прежде сидел Тео, — поднялся тёплый свет. Вагон был устроен из дерева, стальных уголков и нескольких мест, про которые лучше не спрашивать старых столяров. Скамья относилась к последним. Нора, впрочем, пропускала под неё тряпку каждый день. Ничего, кроме пыли и обрывков обёрток, там не было.

Свет побежал по доскам к дальней площадке. Пёс свесил голову, провожая его с изрядным суждением; сонные трубачи потянулись разом. Пятно превратилось в вытянутую полоску. На полоске оказались три слова.

— Давненько его не было, — сказала Эдда.

— Кого?

— Двора ласточек. Внизу у воды. Подъезд сзади, с Гвоздевой улицы.

— Эдда, там пятнадцать лет набережная и общественное отхожее место!

— Вот благоустройство старых кварталов и началось.

На тёмном стекле поверх отражённых лиц пошёл косой снежок. Не настоящий снег: за ним стоял июль. Человеку с запятой на щеке с места должно было показаться, что они поднимаются тополиной аллеей. Нора разглядела на боковом окне смазанное кисточкой слово. Кто-то провёл по-свежему прямо на стекле, хотя с утра не впускали ни души и весь вечер вагон стоял под замком у служителя.

Они тихо свернули к каналу туда, где рельсы кончались. Эдда длинно присвистнула. Притормаживать не стала: колёса, пятьдесят лет учившиеся ходить рядом, ослаблять хватку на поворотах не прощали. На том берегу меж каменными стенами и точно выложенной брусчаткой зацвёл узенький проход. Чёрным по белому, в аккуратной сетке дворцового трафарета значилось: «Двор ласточек. Подают холодное молоко с рожками. В кузнице приём по звонку».

Июльский ветер ударил в зубы, принёс к уху прожужжавшее коротко насекомое. На крючке за лавкой висела связка медных колец для поросят. Целовались двое, торопливо, сквозь окно мансарды, будто до последней минуты не верили, что у них есть дверь. Посреди двора в рубахах до пяток маршировали четверо гусей; вслед гуськом шли четверо детей с бумажными шапочками набекрень — наоборот, сначала дети, потом гуси. В ночном вагоне все затаили дыхание, даже пёс.

Нора задний засов придержала. Кто из них собрался выходить?

— Это же наш двор, — произнёс Тео.

Он был в одном ботинке, в распахнутом пальто и стоял так близко, что она увидела, как на том месте, где у прочих людей обрывается синева зрачка, у него тонко шевельнулась золотая радужка. В кольцах всплеснулся свет, словно к окну приблизили две ложки подсолнечного масла.

— Что именно вы с ним сделали?

— Писал на доске. По старым местам шла полоса. Двор отчего-то был закрашен полосой одного тона с фоном. Я такой дряни в мастерской не терплю. Здесь тоже закрасил светлее и вывел буквы снова.

— На какой доске?

— Да в табельной у южной платформы. Там под лампой — круглый столик и краски. Я работаю для управы. У нас подряд на починку вывесок.

Имени двора от касания чужой руки было достаточно, чтобы с того берега прошлись тёплые огни и заплясали на потолке. Нора поблагодарила себя за то, что ещё не успела выпить взятого из дому пустырника. Карман её нащупал смятое голышом бумажное крылышко. Она вынула его на свет. Отрывной серый билет для дневных рейсов. Только пожалуйста! Всегда без желаний, без тридцати лет прожитого горя, просто три обычных монеты. За это и держалась на работе.

— На сегодня хватит, — сказала Эдда из-за стекла. — Стоянка три вдоха.

Тео посмотрел через Норино плечо. Приотворилась низкая дверь. На пороге появилась худенькая белокурая женщина в хозяйственном фартуке. Обеими руками она защипывала сзади на девичьей фигурке вытачки из синего папиросного листа. Бумажная невеста замахала, как живая. Женщина взглянула на Тео, позвала его коротким бесшумным движением пальцев. Он взялся за ручку дверцы.

Нора положила пальцы поверх его ладони. Прежде чем она успела высказать вслух какое угодно предостережение, он шепнул:

— Не смейте меня подначивать.

— Трезвы-то вы?

— Боюсь, что до неприличия.

— Вы же знаете, оттуда нужно вернуться с человеком, который помнит, чего вы вышли купить. И где ваш отрывной? У вас билет в один конец.

Она почувствовала, как он выключает пальцы по одному, в обратную сторону, сперва мизинец. Снаружи белокурая женщина всё смотрела и зажимала губами тонкую швейную булавку.

— Вот ещё, — сказал Тео. — Чтобы мать видела, в чём я хожу весной.

Она считала, что он ответил ей. Через секунду поняла: говорил с женщиной в окне.

Эдда трижды нажала педаль, не ударив звонком. Лето отлетело от холодного стекла, как край плохо приклеенной марки. Впереди показалась нормальная мостовая. Мартовский дождь всё норовил завалиться в прежнюю водосточную яму.

— Вы чего наделали? — Нора отняла руку. На указательном пальце чернила оставили такую же запятую, как у него на скуле. — Кто дал вам право трогать старую доску?

— Правильно поставленный вопрос, сударыня, — ответил он без тени смешка. — Дайте мне хоть носок надеть.

Пёс положил им обоим нос на колени; оказывается, они уселись лицом друг к другу в конце вагона. Нора почесала псу башку. Дорн долго возился со шнурками; уже затянув оба, так их и не отпустил. Рядом кто-то играл «Бусины для Бланки» беззвучно, одними клапанами трубы. Женщина, которую он называл матерью, так и осталась по другую сторону стекла с булавкой между губами.

— Жива ли она? — тихо спросила Нора.

— К сожалению, — ответил он. — То есть слава богу. Знаете, есть такие случаи, когда люди перед ответом думают? Вот я перед этим конкретным ответом должен был подумать.

— Что её угораздило показаться в вагоне?

— Вас интересует устройство волшебства, а меня — как попасть домой. Она в трёх часах отсюда, торгует пуговицами шурину в Малом Ребре. Два года назад я к ней приезжал, выправил стальную ручку у дверцы шкафа. У неё вечно беда со шкафами и с собственными детьми.

— А у вас?

— У меня тоже со шкафами.

К утру в городе творились простые и приятные вещи. Тесто в подвале булочника вытаскивали из-под синего одеяла; кожемяка Гурд пытался пьяненьким ключом попасть в скважину, причём пьян был, конечно, сам кожемяка, однако в бранные слова заключался ключ. Он слышал вагон на Рябой улице и всегда становился к полотну спиной. Какой-то сердобольный пассажир три года назад посоветовал ему трезво слюнявить пальцы, с тех пор Гурд до смерти боялся советов из трамвая. Мальчишки с трикотажной фабрики сидели на трёх подоконниках и пекли картофелины в чёрном садовом фонаре. Ветер носил мокрый табак с последней баржи. Обыкновенный Листен, плоский травяной остров у мостовой, стекляшки на кончиках чёрных ветвей.

На Тесовой фонарь был потушен за неуплату. Зато на одном из мезонинов горела лампа в виде синей птички. Тео указал на неё.

— Сам выдувал?

— Мне её выменял сосед за букву «М» со штрихом не в ту сторону. Есть коллекционер, держит музей городских ошибок. Зайдёте посмотрите, если вдруг окажется, что вам по дням скучно.

— Вы, значит, у него главный поставщик?

— Только на той неделе. В этом году меня крепко обошёл гравёр Досен с портретом герцогини. Он её изобразил на юбилей как раз с таким носом, какой она и имеет от рождения. Всего доброго, Грай.

Нора открыла дверь. Тео спрыгнул на брусчатку легко и мешковато поклонился, хватая воздух пальцами в том месте, где люди с водопроницаемой головой обычно носят шляпу. Голоса истопников перекликались у красильни. Оттуда же потянулось протяжное, кашляющее пение первого гудка. Особую мелодию его придумал ещё прежний заводчик. Утром, когда

человека валит от усталости, слышится в этом пении вежливое «сдохни», вечером, на свежую голову, — «с добрым утром».

Тео побежал в сторону птички. Первые два шага на мокрой брусчатке отпечатались тёмным, третий пропал совсем. Под зацветающей вывеской «В гостях у мадам Тыши белые блины» пропали и полы пальто, и рука, и кудрявый затылок. Синяя птичка над мастерской погасла.

— Поехали? — спросила Эдда.

Норе только и оставалось сделать, что полагалось сделать раньше: отлепить собственные ноги от пола, выскочить, догнать, выхватить. Она выскочила. На ступеньках мастерской лежал шнурок с жестяным наконечником, всего один. Тео совершенно точно надеялся купить другой этой же ночью.

Из тёмного подъезда напротив выглянула маленькая девчонка в слишком большой фуражке. Нора едва не приняла её за бродячего ямщика. Девочка пересчитала треснувшие костяшки на деревянных счётах, болтавшихся у неё на верёвочке.

— Зря вы его домой пустили, — сказала она Норе. — Теперь кто моё письмо передаст?

Потом юркнула за дверь; и, хотя Нора дёрнула ручку, замок оказался задвинут. На площадке дважды брякнула Эдда. Когда начинаются дневные хлопоты, ночной вагон стоит беречь от толпы.

— Упустила? — спросила она у вернувшейся Норы.

— Исчез со ступенек. Над мастерской на фонаре синяя птица, я мастерскую видела.

— Я спрашиваю, ботинок его ещё у тебя или оба унёс?

Грай опустила глаза. На её плече висело его пальто, тяжёлое от дождя. Разве он выходил без него? Не мог выйти. Она видела на нём этот плащ до самой мастерской. С правого лацкана на ладонь перескочила капля дешёвого красного сургуча. Он приклеил там загнутый гвоздик: кто так чинит пальто?

В кармане она нашла билет. На месте круглой трёхпятачковой просечки сделалась прорезь узкая и долгая, как блестящая между половицами нитка.

— Сдаётся мне, — сказала Эдда, скидывая перчатки, — у тебя завёлся пассажир, который пожалел, что родился в одном направлении.

И потянула рукоять на себя, чтобы не раздавить белую кошку в подворотне. У кошки было вполне обычное дело: на крыльцо «Синицы» как раз выставили горшок с тёплым молоком.

# Глава 2. Человек с изнанки

За годы, которые Тео проработал на Тесовой, над его дверью устраивали совещания пауки, пробовали голос уличные проповедники, один раз рабочий по рассеянности втащил к нему бегемота на широких колёсах, приготовленного для масленичного шествия. Пока бегемота выталкивали обратно, ему изрядно ободрали медовую шкуру. Площадь порчи Тео заложил по смете в непредвиденные расходы и с тех пор думал, что на Тесовой случилось с ним всё, что только может. Утром во вторник лужа накрыла его с головой.

Он успел помыслить, что город тем самым оскорблён весьма дурным водоснабжением, и больно ударился боком о кухонную ручку. Из узкого окошка хлынуло жаркое майское солнце. На столе висел, зацепившись тесьмой за сучок, складной деревянный попугай в натуральную величину. Тео пнул оттаявшую оконную замазку, закрыл глаза и попытался припомнить, что он вчера съел у Птицы. Мать предупреждала: нельзя у наших прибрежных птиц есть ничего, что осталось от ужина, в особенности устриц.

— До обеда не умрёшь. Двигайся, а то я рукой не достаю.

За спиной у него была мастерская, в которой взрослые женщины сновали, как в деревянном макете сумасшедшего дома: примеряли длинные бумажные рукава к дверным ручкам, влезали в открытую форточку с улицы, неся под мышкой зонтики, сшивали на талии кавалерийский китель цвета позавчерашнего борща. Мать, молодая, с косой до пояса, держала клочок розовой ваты поперёк протянутой правой руки. Тео отодвинулся, она отлепила с подоконника две притороченные булавками стеклянные коронки. Сразу сделалось ясно: ему отвели во сне роль близорукого, совершенно бесполезного предмета.

— Так вот где ты теперь, — негромко проговорил он.

— Я всегда здесь, куда же мне деваться? — отозвалась мать, и Тео прилёг на подоконник от неожиданности. Она смотрела на него. — Сейчас положишь покупки на весы, разденешься и перед зеркалом натянешь сначала синий пиджачок. Потом щегольской, с фалдами, и не вздумай застегнуть верх: умрёшь, себя так испортишь. Теперь налево. Все сразу налево!

Шеренга невысоких долговязых мальчишек повернулась к нему спиной. Тео узнал сутулого Брита, который уже в одиннадцать лет распоряжался, сколько тряпок шло на одну ручную обезьянку. Отчебучил жадюга и после: живую небольшую макаку у бродячего фокусника покупал за шесть медяков, а хотел с него взять остаток за ремонт лапы — там старый шрам, давно и неровно затянутый. Какой Британ на самом деле, так и не узнал: в тринадцать лет парню пришлось уехать, когда закрылась фабрика тростниковых корзин в предместье Лыль. О матери тот, в отличие от Тео, заботился всеми доступными средствами. В том числе посредством обезьянок.

На левой руке у Тео, чуть дальше от ссадины, остался синий отпечаток большого пальца. Вчера ночью его коснулась кондукторка, когда не пустила во двор. Хмурая красивая женщина, отрезавшая ногтями водораздел между двумя их телами. Сначала он принял отпечаток за ещё одно из бесчисленных веществ, которые лезли под его кожу. Чем дольше он на него смотрел, тем более хотелось написать «Здесь была» возле чьего-то несогласного пальца.

Мальчишки перед зеркалом разошлись, женщина хлестнула ладонью по пузатому попугаю. Тот рассыпался и упал в корзину. Донышко корзины оказалось убитой в детстве шапкой Тео, с которой по правилам экономии срезали тулью и пустили на обивку. В других домах утром полотенца шили с нежным причитанием «Что-то детки долго спят». А здесь, если кто наклонялся поцеловать ребёнка, ему сперва вынимали из волос булавки. Разобрать, кому приходятся родными все эти женщины, давно никто не умел.

В окне визгливо свистнуло. На дворе по-прежнему переливалось снегом тополиное лето, но за железным столбом в лёгкой дымке виднелась остроносая молочная артель. Её постро-

или, когда разогнали уличных тряпичников. Колёса извозчичьих пролёток несли груз в противоположном направлении, туда-сюда и снова влево. Через призрачное колесо Тео разглядел знакомое лицо: хозяйка булочной с дочкой, раз в месяц заходившая засовывать ему под дверь записочки «Лучшая краска кофе», набивала за щеку теплый корж. Смотреть сквозь полупрозрачную булочницу на её хищные движения челюстей оказалось отвратительно.

— Можете передать кое-что на Тесовую? — спросил он у матери. Знал, что вежливое «можете» обидит и напугает. Усадил синий след пальца в кулак и сжал до боли. — Мам, у меня там открытая форточка. Дождь заливает пол. И я в одном нижнем. Я как ушёл?

Она подняла на секунду голову. Впервые он заметил у глаза рыжую полоску: машинное масло, пудрой с кисточки по такой щеке без толку. Мать сняла два пальца с синей нити, свой для него ответ протянула с улыбкой:

— Смелее, я разрешаю.

Она всю жизнь никому не разрешала. Это был такой человек: «Кто тебе запрещает? Если есть охота влезть на башню, лезь. Сойдёшь на левой, попробуешь сесть потом на правую, а кормить под себя я никого не нанималась». Живая мать никогда не стояла бы в дверях перед ним собственной особы без единого желания назвать, описать и присвоить его затруднение.

Тео поглядел на свет из окна. Чужой тёплый свет. Хорошенько запомнил, где дверь. С потолка на гвозде качалась верёвочка с башмачком, в который выросший Тео и палец ноги нынче не всунул бы. Поднявшись на цыпочки, он отвязал башмачок; тот рассыпался, как скомканный вчерашний сон. Кожу на пальцах высушило в одно мгновение, до морщин.

Он не верил в собственность, которую нельзя украсть, и в человека, понятного с первой минуты знакомства. К несчастью, с первой минуты ему стало ясно, кто перед ним. Это был тот Двор ласточек, какого лапша его нынешних раскаяний нарисовала бы на салфетке, попроси Тео своевременно подать её на стол. Гуси, молодые матери, ни одного стоптанного башмака. Никто не помнил запаха горелой клёпки на коленях, мелкого пота дешёвого мартовского бала перед проверкой квартальной управы: вчетвером обметывали подолы бобовидных турнюров для кавалерийского ассамблея, от голода падали, взявшись за лампу. Забыли, где настоящие женщины вешали бельё. Вот на этом шнурке с липким от лака башмаком, вытянутом от окна до окна по диагонали. Туда мать ненавидела лезть.

— Раньше у тебя на левом рукаве всегда была дырка, — сказал он. — У самого локтя, от игольного ушка. Я хотел заштопать, ты меня огрела гребнем.

Мать позволила ему подержать рукав. Сукно было целым и тёплым.

Он вышел на двор. Под воротами вдруг раздался человеческий смешок. Старый, прогорклый вполне по-настоящему.

— Твой первый? — спросила на скамье худая старушка, по-юношески закинувшая ногу на ногу. Лицо её сплошь закрывала огромная шляпная корзина, из которой торчали семь ниточных усов. — Помнишь сегодня, сколько их было?

Он показал на пальцах три. Ему привиделось три разных дома, пока шёл к арке: мастерская, ботиночная, высокое окно аптекаря, где мать снимала комнату.

— Посчитай ещё раз, — сказала старушка. — А теперь попробуй вспомнить, в каком из них у тебя имеется ключ.

Тео оттянул ремешок у пояса. Латунный ключ он держал в левой набедренной кобуре вместе со шнурком для аршина и зажигалкой, которую вечно забывал заправлять. Кобура была пуста. Пальто исчезло. Ботинки внезапно очутились на ногах оба.

— Вы настоящий человек или здешний?

— Смотрят они на нас, молодёжь, и всё им кажется, что на ответственную работу берут с тридцати, а после восьмидесяти выпускают в стихи. Как сунешься к стихам, у них там тоже полонки и цена на овёс. Я со вторника сюда прихожу. Жду, пока сын домой соберётся. Он, скотина, утверждает, что за этим поворотом теперь театр. Всё хожу сама проверить.

Она сняла корзину. Тео оторопел: под ней на обритой голове старушки, прижав к клювам хвосты, рядком сидели канарейки. Видя, что он раскрыл глаза в совершеннейшие пятаки, она сердито поставила корзину обратно:

— Мамин сюрприз. Вот умный человек стал бы дарить птиц на восемьдесят второе рождение? Запомни, что я сказала про ключ.

Она исчезла; со двора донёсся короткий звон швейных ножниц, выпавших из руки. Он успел увидеть её билет с оторванным хвостиком, зелёную стекляшку у шарфа. Старая дама знала, как возвращаться. Жегло, что она может, а он торчит посреди сараев и валяет дурака. Надо было спросить. Конечно, каждый имеет право, разминувшись на углу с единственным другом, поинтересоваться, гужевая ли тот лошадь. Ключ в том доме, где имеется его имя, где он действительно живёт. Или наоборот. В голову уже лезли выводы с красивыми хвостами и лезвиями вместо ногтей. Ведь на прошлой неделе его обманула табличка, а не пьяный банщик за стойкой. Как с этим быть?

Куда бы он ни пошёл, улицы притворялись теми самыми. Рельсы у канала распадались на восемь одинаково гладких, начищенных подошвами тропинок. Навстречу попадались лица, собранные из того, что мог вспомнить Тео. Портной напротив вывески был вовсе не похож на Риба с развинченной челюстью, каким тот стоял на площадке в воскресенье, когда ему вынули два зуба. Перед ним хорохорился Риб в строю гимнастов; Тео нарисовал его строго в профиль с булавкой в красном отечном ухе на плакате, когда подмастерья решили устроить свой турнир по метанию портновских болванок через Виселый сквер. Башенные часы пробили два или три раза: он не слышал первого удара и ему начало казаться, будто память сама себя развязывает на шнурки и отпускает по одному. В столовой он попробовал персик. Испортил его укусом, но вкус остался лишь на языке того человека, который когда-то его съел. Тео выглянул через раму и увидел настоящую серую Тесовую. По мостовой шёл городовой, неся под мышкой, чтобы считанное было видно издалека, его, Тео, узкую вывеску «К исходу дня падают цены и штаны». Шутка шуткой, а булочник и раньше то подносил ему торт с орешками, то пугался и вызывал городовых снимать творения. Вернуть за полцены — скверное занятие, он предпочитал возвращать за полную с надбавкой.

— Эй, господин Гуш! Да вы её вверх ногами тащите!

Городовой, которого звали совершенно иначе и который неизменно любил поправлять, на этот раз прошёл, как искушённый сноходец, прямо сквозь него. Тео зашагал в сторону мастерской.

В окне «Синицы» на высоте его груди белел обеденный стол. Хозяин сидел в три четверти к окну и слушал, как играет хрустальный граммофон; в его руках попеременно оказывались чужие кисти, ворс у всех был поднят вверх от кипятка. Дурной двойник, поспешно сляпанный из собственных желаний, сытой ладонью зачерпнул орехов из коробки. На коробке, Бог ты мой, красовалась герцогская печать.

— Только попробуй брякнуть, что тебе и эту дрянь прислали с орденом за выслугу, — пригрозил Тео.

Двойник у окна равнодушно потянулся; исчезла лавка; проплыли медленно по стеклу рога быков с первой выгульной цепи. Сонное бычье стадо, больше похожее на облако, окропило грязью тротуар и вывеску, которую Тео вчера честно отмывал. Он махнул рукой, пошёл в сторону Гвоздевой и от удивления едва удержался на ногах. За ним по колее, не спеша, шла женщина из трамвая.

Улицу они занимали одну и ту же, но невидимые друг для друга. Женщина отхлебнула из чашки, протянула её кому-то сзади и громко, так что он услышал настоящий хриплый голос вальторны посреди неслышной мостовой, сказала:

— У меня спит человек. Позволь тебе мной командовать — завтра на всех дверях нашей конюшни висело бы по звёздочке. Не лезь, Тиля. Я не показываю пассажирскую кладь.

Тео, смекнув, о какой клади речь, мгновенно изменил решение и прижался к стеклу. Его пальто, с поддёвкой из клетчатой простыни, но всё-таки пальто, надела Грай, чтобы не промокнуть. По приготовленному его руками сгибу нитки он узнал штопку под левым рукавом. Ключ на широком конце столярного угольника у неё из кармана торчал. Впереди маленькая Тиля с фуражкой набекрень показывала дорогу. Та самая Тиля, которая и привела его вчера вечером к южной платформе. Дорн уже жалел, что позволил себе замечание насчёт того, будто девице её возраста следовало в такой час перевязывать куклам коленки: Тиля трудилась курьером за настоящее жалованье и в отличие от Тео к концу каждой недели умудрялась откладывать хотя бы медяк. Отец у неё был учителем математики, отстранённым от преподавания за необузданность нрава. Он метнул в завуча стеклянные счёты, когда тот велел поставить кандидатке со справкой о гибели отца удовлетворительный балл без проверки. Знал все цифры и никак не мог запомнить, что дочь зовут Таисия; привык по-домашнему, как большинство жителей Букварного переулка, Тиля.

Они вошли в мастерскую. Его родной ключ, хотя он был якорем от всего мыслимого, спокойно повернулся в настоящем замке в чужих руках. Он вплыл следом, как паутина. Без него не очень было прибрано: четыре лишние тарелки, обрезки бронзового багета, фляжка с коньяком, который стоил пузырьков больше, чем жидкости. На жёлтую скатерть женщина положила по очереди спички, платок, пять ключей от разных депо, леденец, два крючка без дела и засахаренный прутик яблочной корки. Грай курила? Не хотелось бы. В такую женщину табак просился, как лишняя щепотка перцу в уже порченую похлёбку. Зачем уделял время такой ерунде? Подходи, хватай за руку, говори!

Она ладонью оттеснила ребёнка. Тиля набрала воздуху и три раза подряд громко чихнула. Впервые в настоящей мастерской чиркнул огонь. Кусочек дыма пересёк солнечную комнату Тео, ударил ему в лицо знакомым запахом сандала и клеёнки. Он встал перед столом, вскинул, точно фокусник, руки и обрушил их на печную заслонку со всей силой. Глухо бряк-нули тиски; тот звук добрался, кажется, до девочки. Грай всё ещё смотрела в сторону стола. В очередной раз за этот день Тео ощутил, до чего ему не хватает чуда совершенно другого сорта: чтобы эта женщина посмотрела ему в глаза.

Он попытался оба раза. До того как третьим ударом отбил себе подушечку среднего пальца, девочка подняла красный ободок так, чтобы он пришёлся как раз под оттиск. На плоской крышечке остался синий отпечаток, словно от пальца Грай.

— Да я же говорил тебе, я здесь!

Девочка сомкнула губы, выдула воздух сквозь сжатые зубы, толкнула кондукторку локтем в бок, чтобы привлечь её внимание к его подвигу. Та не удивилась. Наклонилась, прочла как надпись, криво улыбнулась.

— Мсье Дорн, — сказала она в воздух, целясь немного левее и значительно выше, чем того требовала голова Тео, — в полночь встаньте на Тесовой возле вашего собственного фонаря. Вероятно, вы меня слышите.

— Молодая женщина, мы с вами виделись всего однажды, но за это одиноко проведённое утро...

Его наскучившее слово оборвалось на полпути: в настоящем уже была ночь. Нора стояла рядом в его пальто и протягивала стакан настоящего обжигающего чая. Сбоку чихнул совсем крохотный живой мальчик, пожилой сажей ударило в нос из незнакомой лавочки, а босиком передвигаться оказалось тяжело: оба ботинка слетели с ног и явились почему-то уже натёртыми ваксой. День он потерял весь. Дурное безветренное майское марево сжалось до лужи у ног и пропало.

— Почему слева? — спросил он первым делом.

— Почему что слева?

— Вот именно. Я был правее.

Грай подумала. Протянула ему чашку ещё ближе. Он отпил; горьковатый вкус, слишком крепко заварен, для взрослого трудящегося. Во второй раз глотнул жадно. Мигом вспотел, все пальцы сделались горячими. Нора — её звали Нора, утром Тиля раз проговорилась — суженными от радости глазами следила, как возвращается в человека тепло, и ему вдруг захотелось броситься очертя голову в каждую яму под городом, лишь бы его оттуда вытаскивала она. Мысль оказалась несколько менее нелепой, чем хотелось.

— В сумке у вас есть две сдобные булки. Одна с маком. Откуда я знаю?

— А кто считает, что мака в нашем городе не бывает? Доказательства нужны тебе самому, Дорн. Мы верим и без них.

Они смотрели друг на друга. Кожаная сумка кондукторки висела у её ног, спущенная с плеча, как повязывают к воротам спящего пса. Грай подхватила её, жестом велела забрать перешитое пальто.

— Беда в том, что я вам сдал билет в один конец, — сказал он. — А теперь еду обратно даром?

— Пока ваши денежки лежат в кассе, пропадать не дадим. Расскажете, зачем вы ездили не к себе. Нора, — добавила она после короткого раздумья. — Меня зовут Нора Грай.

— Тео. Теодором звать, только если начну с вами стариться.

Она весело выругалась от такого неожиданного нахальства и пропустила его в вагон.

# Глава 3. Пассажир без сдачи

Полуночный давно перестал удивляться, что за ним не поспевают. Теперь он терпеливо ждал. Остальные трамваи города были чопорными немецкими экипажами в начищенных ливреях, а этот родился из двух лестниц, одной лодки без кормы и нелепого пари. Строительный подрядчик старого театра побился об заклад, что за ночь соберёт на двенадцать мест вагон, изнутри которого с каждого места можно будет увидеть лицо любимого человека. Пока он искал медь, плотники выпили три галлона пива и заспорили, входит ли в обещанную работу обратный путь. Городские ломовые извозчики, на чьей стоянке это случилось, ещё долго рассказывали, что исходный вагон понравился всем женщинам, но панель следовало настилать поперёк.

— Вы не обязаны в это верить, — пояснила Нора. — Семь разновидностей истории есть только про пиво. По правде, ехать на нём на тот свет всё-таки нельзя. Оттуда вам никого не отдадут.

В переднем конце забренчали пустые стёкла. Вагон, которому непременно хотелось попасть в разговор, проехал по зарубке и вдруг довольно громко сыграл два такта «Мой любимый чистит сельдь». Тео поглядел на неё с интересом.

— Это тоже входит в легенду?

— Это у Эдды муж приладил таз под седьмую половицу. У него друг чинит шарманки, решил приспособить вкус к музыке на службе отечеству. Теперь отечество спит на левом боку, а правым ухом всегда ждёт вчерашней сельди.

Дожди к ночи прекратились, народ выходил из ночлежных чайных весёлый, с бумажными конфетти на плечах. Днём из-за неосторожного маленького факельщика на цирковой арке прогорела полоса золотых комет: при встречном ветре артистка, которая на проволоке дула на них, надула совсем не туда и едва не погубила антрепренёра. Он весьма этим гордился. Подозвала Нору женщина с пунцовыми ключицами, на шпильках у неё висели две картонные золотые рыбки.

— Милочка, шутеек никаких у вашей лошадки для меня нет? Мне обычную Лысую, пожалуйста.

— У нас в эти часы до Лысой либо во сне пешком, либо с пересадкой в башню. Или третье — полтора квартала по Смышлёной и одна лестница. Лестница сухая, я днём проверяла.

— А старший мой женился вчера, — сообщила женщина скорее соседям и звёздам, чем Норе. — Кратчайший путь мне теперь туда, где оплакивают молодых мужчин, отданных цирку на съедение. Он ещё зубы не все успел показать. Полдня за девку ручкой от карусели цеплялся, как будто она его без нас поймала.

Она засмеялась, похлопала Нору по руке и ушла, не желая ничем пользоваться в такую прекрасную погоду. Рыбки в волосах на мгновение сделались похожими на живых.

Тео, уже застегнувшийся до самого кадыка, молча придержал решётку старику с плоской и дурно пахнущей корзиной. Старик на крыльце подъезда вытер подошвы, зашагал через площадку и снова вытер ноги — на этот раз о половик вагона. Дорн удивлённо оглянулся: нигде не было написано, что это положено. На Норино счастье, у окошка сели две шляпки. Отвлекло купейное стекло с трещинами: они различали в рисунке капитанского попугая и спорили, повернулся ли он к человеку лицевой стороной или спиной.

— Госпожа Грай, — сказал старик с корзинкой, — тот самый, будьте любезны.

Нора прищурилась и осмотрела его получше. Низенький, пузатенький, вылощенный, как кружка для пожертвований в какой-нибудь солидной богадельне. В кассу за всю жизнь давал не чаще, чем новый профессор науки — прямо высказать своё мнение. Вот такую презанятную

личность она видала на улице каждый день, но узнавать только сейчас начала, когда он назвал её по фамилии, вроде как по дороге уже однажды бросал.

— Вы разве со мной ездили?

— Я подал прошение в прошлую среду, а уже следующая на носу, — надулся старик. — Не ночью же вы корреспонденцию получаете! Изволите видеть при себе собственноручно отчёркнутый план пересадок. Господин, — рявкнул он, не меняя лица, — будьте как дома, но не у нас дома. Вы мне на корзинку сели.

Тео торопливо отодвинулся. Из-под крышки торчал обёрнутый во влажную кисею зелёный круг. Госпожа Грай различила рябые от глубоко заложенных трав края и недвусмысленно оценила, кого везёт. Никакими обидами, ценами, сложностью поэзии и квартальными сборами на новые фонари прежде нельзя было заставить управляющего нашей сыроварней, господина Осса Кауза, сесть в муниципальный вагон, поскольку по городу этот гражданин передвигался исключительно на собственных двух лошадках. Нагрудная бляха на жилете у Осса Кауза играла толстым золотым брюшком, под ней тонко пела от избытка натяжения единственная живая пуговица.

— Мы вас слушаем, — попросила Нора.

Скрипнула плетёнка. На плече у Кауза вырисовался след мятной зубной пудры; потёрся, небось, о подручную младшую кухарку, когда ужин подавали. Он наклонился к перегородке. На глазах у него выступили слёзы, от должного выражения лица не осталось и следа.

— Я двадцать два года каждое утро встал и думаю, надо было засунуть ему сыр в бороду. В ту рыжую поганую бороду! А до того, — он засопел, разглаживая усы, — всякий раньше бы обиделся ценой, как я за них, за лепёшки твои несолёные, что ли, работал. Лучше моего в Листене творожника не найдут, да и по сметане спросите Фока на посаде. Что? Черви? Да я сам ему от сердечного приступа жуков из погреба чаю сыпал! Ничего господин в земле будет за это? Спасибо хоть скажет?

Он разревелся с такой сухой, детской яростью, что Норе стало за него страшновато. По голосу почудилось — очень давняя мысль, вслух ни разу не произнёс. Она повернулась к пассажирам. Шляпки были увлечены попугаем. Вторую площадку отделила с помощью сквозной сдвижной дверки, и теперь они оставались вдвоём на деревянной кухне, качавшейся тише, чем заводное корыто. Тео, у которого внезапно не оказалось никакого места, стоял на крыльце снаружи, отвернул голову для приличия.

— Что именно случилось двадцать два года назад?

— Рыжий, тесть мой, он мясом торговал. Вы лавку-то видели на Клёцной? Бычья голова над аркой, из носа два кольца. В день Катькиной свадьбы приходят люди под навесы. Невеста — дочка моя, Катька. Ландыши я для неё со льда привёз. Вилы-то, думаю, на стене к чему висят, вдруг кто напьётся? Полез по лесенке снять. И тут слышу, тесть внизу, прямо подо мной, угощение моё обнюхивает: «Кто, говорит, догадался этой дрянью мою внучку кормить? За порог её». А там лучших моих сыров двенадцать голов, все друг из дружки ежевичной лозой переплетены. Я этим угощением месяц до гудка да месяц после занимался.

Нора умела слушать пассажира, который никогда не понимал, как неудобно бывает слушать. Одними движениями собственных бровей ей зачастую удавалось увести горе в сторону реки, где в него свои ручьи вливали только те слова, без которых человеку нельзя.

— С лесенки они оба у меня как на ладони, — продолжал старик. — Катя больше деда родного не увидит, то у него потом болезнь, то мы на другом конце жили, а мне в тот день казалось, что он навечно останется живой и меня, старого хрыча, так и будет учить, чем гостей кормить. Как я тогда корзиной ему в бороду не дал! Спустился, сложил всё в корзину, ушёл до венца. Ведь я ей даже рук не поцеловал, представляете?

Тут он достал всё из кармана, даже серебряную цепочку, и положил перед ней.

— Вы будете покупать час. Попадаете в место, которое могло у вас сложиться, случись всё несколько иначе. Никому ничего делать против воли с вами не придётся. Обратно можно до последнего гудка. Вы вернётесь к стоянке: скажете встречающему, что собираетесь сделать до следующего заката. Можете спуститься сразу, если не понравится.

— А он там будет?

— Кто-то, кого вы помните. Что сделает — не угадаешь. Всякое бывало.

— У меня настоящее дело ошарашить его сыром.

— Надо назвать другое, сегодняшнее. Кого возьмёте провожатым?

Он пересел, заглянул через плечо, упёрся носом в кассу. Уставился перед собой на дверь. Нора видела, как лицо его народилось ещё раз и набрало ровно то количество крови, которое требуется здоровому гражданину, чтобы довести свой товар от творога до кругляша с печатью.

— Вон того небритого. У него что, волосы в кòси едет?

Пассажир, отгонявший от фонаря сонную моль, обернулся. У него не оказалось с собой никакой возможности сделать вид, будто он оглох.

— Не рассчитывайте на приличную кончину, — сказал он старику. — Я вам непременно испорчу драматическую минуту.

Выйти им пришлось троим, включая Нору. Особые билеты хранить было негде, кроме как на пассажире и у провожатого. Сперва Нора щёлкла заколкой на рукаве Осса Кауза и продела сквозь неё билет с обеими частями. В прорезь вынулся пёстрый язычок. Нора приказала Тео держаться за свободный край язычка. Мясную площадь сдуло в одну минуту; крыльцо из брусчатки пошло волной, опустилось им под ноги. Тео перешагнул и оглянулся, помогая Норе. Она сжала его большой палец, обняв его бережным кольцом там, где краска норовила пролезть под манжету. Им вдвоём сделалось как-то необъяснимо весело шагать в гости к мёртвому тестю чужого неудовлетворённого сыровара. Разногласия тоже странным образом отдали на время в чужие руки.

Остановке досталось низкое, почти подвальное полуденное небо. Деревья, которые обыкновенно росли перед фабрикой, здесь спилили наполовину и перегородили дорогу перед домом цепью для мусорных ящиков. Розовая дверь с подковкой выдавала старую небогатую квартиру в задней части толстого здания с головой быка над крыльцом. На двери висел значок «Берегитесь пера». Водители конки прежде носили такое в память об очередном городском филетоне, где полковника, уснувшего в повозке, вышвыривал под утро лебедь.

— И что же? — спросил Кауз. — Во дворе свадьба шла. Гости ихние какие все были, ой! У Кати свадьба была на дворе, под крашеными навесами.

Нора отпустила его и невежливо стукнула кулаком по нижней филёнке. Если хочешь поговорить с жильцами из параллельного мира, не звони в звонок: ему сорок лет, и тот, кому надлежало его вычистить, ещё не умер.

— Да отворите вы, наконец! — проговорил за барьером молодой негромкий голос, приказав своему будущему совершенному богатству подождать.

На пороге появилась девушка в мятом синем платье, с железными щипцами для пирожков. На шее не было украшений, кроме красного шнурка с крошечным ключиком. Нора не угадала бы родства с Оссом Каузом, если бы тот не скинул с головы шляпу и не позвал громко:

— Катька!

— Опять ты, — прозвучало с порога. — Ты же в жизни так и не научился стучать?

Она обхватила его крепкой короткой рукой, поцеловала в обе мокрые щеки и пригласила гостей войти. Кауз стоял, не шевелясь. Корзинка у него в пальцах тряслась и отходила от жести, как сырная корка. Навстречу из комнаты в глубине донёсся сердитый и довольно тревожный кашель. Девушка кинула туда взгляд.

— Лежи, дедушка. Соседи за лавровым листом. А то он так волнуется, — пояснила она им на ходу, — ему прошлой ночью пришло в голову, будто каждый, кто представляется как

положено, на самом деле принёс из страховой расписку, что пришёл описывать рояль. У вас листок есть? Засуньте его под нос и скажите, что палец ему на ногу уронили и по этой причине сами рискуете здоровьем. Мне-то не поверит; я и одного раза со стула при нём свалиться не удосужилась.

— Какой листок, Кать? — прошептал Кауз.

Он заглянул в комнату. Там с перины судорожно хваталась за воздух длинная седая борода. Рыжая французская козлиная борода, которую он изображал себе в приятные минуты, успела побелеть и износиться на концах, теперь губы отвисли, придерживая одинокую пуговицу с остатком подсушенной красной шерсти. Нора подумала: вот так города хранят чужую злобу, она успевает состариться и лечь в постель, а обозлённый всё таскает с собой корзинку. Повисла пахнущая корицей пауза.

— Голубушка, сколько тебе лет? — спросил Кауз.

— Почти двадцать два, — дочь удивлённо изогнула брови. — Ты ворчливая сволочь. У меня и так нервы на теле держатся исключительно потому, что сверху платье. Ты же знал, что я ушла сюда от матери за ним присматривать? Хочешь поговорить, давай иди ляг на ту сторону и заболей воспалением лёгких, вот тогда я тебя непременно выслушаю. Только соседи вон пусть на кухню, а то он и до рассвета станет кричать про арест рояля.

Голос за спиной у неё выкрикнул:

— Кать! Лекарство!

Она ушла, оставив дверь приотворённой. Нора стояла к голосу боком; Тео по-прежнему держал хвостик и смотрел на маленькую острую коленку, открывшуюся под сдвинутой периной. Нора, не замечая того, снова зацепилась ладонью за его локоть.

Кауз раскрыл корзинку. Поначалу им показалось, что он действительно собирается занести руку и одарить своего мёртвого в этом мире или в том мире живого тестя благородным сыром со всей силы. Он поднял свёрток. Запахло погребом, лесными ушками, куда прятались бы от непогоды рыжие жуки. Потом Кауз вынул из кармана ножик и отрезал от сырной головы корочку толщиной с ноготь.

— Легко жуётся? — негромко спросил он.

Дочь покачала головой, кивнула и резанула от ломтика ещё меньшую часть.

— Лучше вынуть все семечки. Давай это я, ты опять сделаешь до самых дыр.

Она перехватила у него ножик. Остальное время Кауз, стоя коленями на половой клеёнке, выковыривал из сыра семечки и кормил рыжего человека с ложечки. Нора и Тео сидели на кухне, делили слушали, как тикает будильник. Тео тихонько взял из кухонного ящика чайную ложку и придержал ею сорванную стрелку: стрелка скребла по стеклу, и на каждый скрежет старик за стеной кашлял. Крахмальная занавеска пахла можжевельником и дешёвой бумажной метелью, которой украшают к празднику окна. В комнате бился, успокаивался, плакал и снова засыпал больной. Девушка села на край подоконника, положила голову на руки, на чистом рту показалась ниточка слюны: мгновенно, совершенно по-детски уснула.

— Чёрт, — прошептал Кауз уже на обратном пути. — В жизни её тогда замуж выдали. Никто из нас не юлил, беременна была, спешили. Вчера младшей его правнучке семнадцать стукнуло. А я всё считал, что эту свадьбу он с удовольствием оплатил, будто скотину выгодно отдают. Ей же было совершенно с рукой его разлучиться невозможно. Да вы снимите с меня билет. Заплачу за весь срок.

— Вытащите за хвостик, Тео. Увидите, где ему руку подать.

Сыровар постоял и назвал сегодняшнее дело. Слова его Нора слышала как откровение: пойти в гости к дочери и забрать на ночь одного из внуков. Привезти мальчишке лодочку, которую смастерил сам, висела шесть лет у него под стропилами. Чуть не ругнувшись, как стары его шутки про бороду и как мало он, оказывается, знал о настоящих часах её жизни! Всё же Нора промолчала.

Когда они вернулись, в руках сыровара лежал целый круг, без единой надрезанной крупинки. Тео посмотрел, понял и крепко стиснул ему ладонь. Правила вагона стоило показывать таким образом, пока не находилось ученика, способного к несчастью понять их на собственной шкуре.

На перекрёстке Кауз попросил остановить. Лестница к дому дочери была мокрой, хотя женщина с золотыми рыбками шла в другую сторону именно ради сухой лестницы. Старик свистнул извозчику; потом передумал, отдал извозчику сыр и зашагал один, налегке.

Усадив последних пассажиров, Нора положила кассу на колени.

— Что чувствуете?

— Досаду. — Тео прилип пальцем к печати на своём рукаве. — Это ж надо, объехать столько времени и понять, что твою собственную дочку можно было спросить.

— Легко говорить, если это не твоя дочка.

— У меня ведь не было дочки.

— Вы утверждаете или жалеете, что не было?

— Так и будем разговаривать, постоянно вполоборота? Я и сватаюсь, должно быть, боком! Госпожа Грай, я не желал сесть на ваш вагон. Я не сказал никому, что собираюсь на Двор ласточек, я не жалею об этом дворе! Его давно нет! Приняли у нас в цех бумажку о том, что там закрасили старое название; я его вывел. Покуда я с этой работы могу на себя брюки купить и спокойно съесть по воскресеньям ужин у матери, большего от жизни не требуется. Кто забрал у меня день? Я задам ему простенький вопрос. Куда записывают на приём?

Нора хотела ответить: «У матери в Малом Ребре? Каждое воскресенье? Сколько времени вы не садились на утренний поезд?» Но где это видано, чтоб она со второго знакомства приобрела права допытываться до привычек чужого мужчины? Он с таким видом тряс обтрепавшейся пуговицей, как будто ему завтра требовался этот день обратно для реального дела. Быть может, требовался.

— Я ходила к Ярому Резу, нашему старшему инженеру. Он приходил на Тесовую позднее меня, но не дождался. Исправленная надпись на доске из предыдущей табельной подняла из прежних списков станцию, которой нет. Туда без права вернуться не то что вы — никто попасть не может. Поэтому до выяснения в качестве ручателя машина держит того, кто станцию вставил.

— Да что это за машина, если она полагает, что я станция? У меня морды для этой работы не хватает. У станции должна иметься шершавая крыша и два окна для очереди. Я не могу смотреть сразу в две головы.

— Висеть на крюке два часа и оставаться открытым по праздникам тоже не умеете? Господин Дорн. Можно мне вопрос, один, и больше мучить вас не стану?

— Вы в конце концов скажете «Тео»?

— Ладно, Тео. Кто попросил вас оплатить дорогу на Двор ласточек? Официально кто дал заказ, кому вы несёте счёт?

Он задумался. Взглянул на ладонь. Даже в полутёмном закоулке у задней двери Нора вдруг увидела все странности его лица: на изломе скула ложилась на бок немножко выше нормы, словно во время работы над нею мастера кто-то стукнул сзади; две складки разной, собачьей и птичьей глубины, возле рта; на одной брови полоска въевшейся золочёной пудры, которую следовало снимать растительным маслом, пока не упала ему в рот, — Нора даже силилась припомнить, сколько есть в кассе масла для фонаря.

— Была девочка с письмом. Хотела доставить его тем, кто там жил. Найти таких людей трудно: они давно разъехались. А я вспомнил, что когда-то на этой старой доске видел название. Что я мог сделать, кроме красивого жеста для лица любезной молодой особе? Официально заказа не было.

— Понятно, — сказала Нора. — Железка сохнет с понедельника по субботу. В воскресенье на рассвете все доски промывают: с прошлого воскресенья осталось отмокнуть аж двадцати трём. В воскресенье там окончательно будет Двор ласточек. После той промывки вы сможете вернуться на настоящую Тесовую тогда, когда любой адрес может вернуться к себе домой. Считайте сами, когда это произойдёт.

— А до воскресенья исправить можно?

— Мы попробуем.

— Деревянный круглый столик, — пробормотал он. — Сломанная печать, одна банка каштанового пигмента. Если я всё замажу, меня перестанут видеть и ночью?

— Не надо уничтожать то, что ещё умеешь читать.

Он дотянулся до свистка, болтавшегося у неё на шнурке. Хотел взять или погладить? Для человека его профессии почти одно и то же. Грай придвинулась, позволила рассмотреть вытравленную на меди мелкую птицу. Он прищурился: холодная пижма, нижний полутон стекла.

— Это воробышек?

— Кивок. Натуральный кивок, вроде как кивните, что пора ехать. Семь лет никто не узнаёт.

— Вот так и живут с тех пор бездомные воробьи, — сказал Тео совсем тихо. — Безадресные рабочие люди.

Во вторник у Норы оставалось несколько часов, а всё важное об этом новом человеке она умещала пока в один карман. Там были шнурок с разогнутой железкой и её самый дурной инструмент, любопытство, которым она ещё в детстве успела открутить дверцу кладовки и выяснить, что дед дарит на Рождество.

# Глава 4. Дом наизнанку

Инга Дорн считала опасным здороваться с человеком перед тем, как тот сойдёт с крыши. Зубья токоприёмника заедали снова, ей досталась щель между фонарями шириной с дамскую шляпу. На лбу Инги вздулась синяя жилка от напряжения. День уже начался. По обоим тротуарам шли швейники за кашей, мясники за собаками, за мясниками — девушки из танцкласса «Минуточка» в поисках сдобных тефтелек и мужского внимания на полчасика перед репетицией, и вся эта торопливая братия выгибала шею, чтобы видеть, как лучшая в Листене водительница грузового вагона на ходу умеет ругаться шёпотом, да так, что голуби над депо вдруг сменили круг.

— Касаться штанги голыми руками никто вам не велел, — сказала Нора, когда с почвы был виден один Ингин зад. Ответом ей был сапог, которым Инга легонько поддела кольцевой винт и отцепила одну шлейку.

— Будьте добры подержать калитку, — бросила она сверху. — Полтинник на её замену из благотворительного общества уже третий год везут четвёркой пристяжных.

Нора придержала килограммов десять дерева, ровно столько, чтобы вся верхняя площадка не поехала вниз, утянув за собой Ингу. Опираясь на плечо коллеги, Инга приземлилась, тяжело задышала и довольно бесцеремонно поправила резинку своего белья.

— Спасибо. Валяйте ваше известие.

— Меня зовут Нора Грай, мы однажды ездили вместе на последний смотр у колясочного.

— У тебя были хорошие ноги, я помню.

— Они всё ещё на месте. Речь о вашем младшем брате. У него к нам вопрос относительно одного адреса.

— Наступил на щётку, получил по носу, хочет написать кистью письмо тому, кто придумал создавать гравитацию? Меня по адресу «куда идти невестам» на его счёт тоже спрашивали. Ты бери последнюю хорошенькую и сразу говори, что рано. Ему и тридцать будет далеко не завтра.

— Ему уже тридцать два. И мне пришлось брать его из лужи минувшей ночью.

Из торчащего верхнего кармана Инга достала два мясистых бурых листа, свернула в трубочку, уснула над ними на те две секунды, пока разум добывал для собеседницы место, вполне свободное от прежних испытаний. Листья она протянула Норе, которая по рассеянности мысленно уже курила.

— Намочи, положи вокруг ладони. Ты об кольцо ей натёрла.

У неё на запястье и вправду была красная распухшая полоса, не сразу увидишь. Она взяла листья. Тео вчера надорвал ноготь сбоку, когда открывал, чтобы показать ей прежнюю станцию, стеклянную дверку; перед тем, как исчезнуть с первым гудком, он вынул из шапки сухой лепесток подорожника и положил на ссадину. Тоже как будто не заметив. Теперь ей казалось, что она участвует в программе воспоминаний, где Тео вырос на два-три дюйма, сделался плотнее и выругался чистым, певучим низким голосом.

— Ухмыльнулся и пожал плечами, да? Это я ему с детства вбивала, что если портишь человеку жизнь, сначала вежливо изобрази собственную готовность к скоропостижной смерти. Обычно для верности у него следы ярких красок на лбу. Он возвращается только ночью?

— Вы уже знаете?

— Ты четвертая нынешним утром спрашиваешь. Мастер из часового двора добрался раньше, его жена требует вернуть на место обмороженного попугая. Платит хорошо. Городовой — тот искал по другой причине. Маленькую табуретку кто-то захватил с толкучки и водрузил над уборной; работают, говорит, ты бы видела, какие люди! Верни городу лицо, займись ремеслом. А третья, не поверишь, наша мать. Жива, шлёт открытки каждую среду. С субботы

не написала, видели ли бандероль, что послала ей её светлость — сестра твоя — голубой краски хватит к пятнице?

— Человек исчезает на рассвете, — сказала Нора. — Прошлой ночью дотянул до первого гудка, и всё. Трогаешь, и его нет. Я весь город вас сегодня искала. Он не уехал без денег на Южный берег; не спрятался от кредитора в ванной; с чужой дамой не на маскараде. Он ушёл ногами до собственной мастерской, на два шага дальше моего носа. Я его за руку держала.

Последнюю подробность она выдумала. Однако по всему телу пробежало такое знакомое коварное тепло, будто знала, как это, когда, протянув руку в тёплых лиловых сумерках, хватаешь воздух, а в воздухе вдруг оказывается чья-то живая ладонь. При одной такой мысли Норе захотелось снять китель.

— Ну куда он денется, — медленно сказала Инга. — Всю жизнь с ним это. Выскочит и давай: что я вам покажу сейчас, какой у меня золотой палец. А его забыли позвать к столу, горе-то. Ты ему сказала, что это меня тревожит?

— Я ему сказала, что вам могу передать.

— Скажи, что я по-прежнему на Кривом, пятый этаж, комната с простреленной ручкой. Он чинил её сам. Придёт. В человеческом виде и сам. В своё время я в басне «Петух и церковная ограда» у нас в школе четыре раза была церковной оградой. А мой брат восемь лет изображал петуха. Забот у нашего петуха за двадцать зим, если оглядеться, никак меньше не стало.

— Простите, вы не вполне поняли. Ваш брат нужен мне помощь ему оказать.

Инга тёрла левую переносицу костяшкой пальца так, словно там стояла надпись «Засорено». Потом глянула на Нору впервые прямо.

— Прям совсем никак в полдень его не поймать?

— Послушать нас может и руку иногда приложить, только что он схватится за вещь — она станет не сегодняшняя, он сквозь проскользнёт. Ему не нравится, что его принимают за уличную достопримечательность. Не совершенно потерял всё хорошее. Ещё он с нами работает и надеется к воскресенью опять взяться за кисти днём.

— Девять лет не беседовали, — сказала Инга голосом, совсем не похожим на тот, каким до этого кричала в штангу. — После дня, когда Двор продали. Меня исподволь всё пытаются уговорить пойти к нему и дать денег. Больше всего на свете я бы хотела, чтобы брату никто не дал денег. Он тогда, может, начнёт думать.

— Нужно ваше свидетельство, что такой адрес был.

— Вот этот брат, который меня тревожит, в прошлом году прислал на мамин день рождения огромную жареную птицу. Пуговицу из каждой лапы вынуть постыдился. На каждой шёлковый бант, на каждом банте моё имя. В дом даже не зашёл. Мы потом те банты резали на подушечки для булавок. Ты соображаешь, какие у нас с этим человеком отношения? Что советовали семь лет, потому что жалели красивую парочку, которую мать в одинаковые кителя одевала? Отправь его ко мне. Живого, однажды. Я ждать умею.

Две недели назад Нора поехала бы вслед за грузовиком на велосипеде, на каждом перекрёстке протягивая нужную бумагу. Ей не нравились люди, из которых требовалось тянуть клещами, чтобы помочь им уцелеть. Но в рассказе старика Кауза остались коленки тестя над ложкой сыра, а в глазах Инги торчала неприкаянная щепка. Уйти спокойно значило хотя бы одному из троих принести бесспорную пользу.

Вместо «всего хорошего» она сказала:

— А вы проверьте, пожалуйста, скобу с левой стороны. Проводчик по крышам из меня как из табурета аист, но я по полу слышала — клацает, когда опускаешь.

Инга проверила, улыбнулась и позвала, не поворачиваясь:

— Погоди.

К её ногам легло сложенное в треугольник письмо. Бумага была в мазуте и горелой муке, писалось карандашом — «Моя глупая золотая рыбка», дальше буквы смазывались.

— От мамы. Про детство у неё получается по-старушечьи, зато комнатки все вспомнит, где жили. Надо что вспомнить, ищи мастера по фамилии Лин. Скелетник в театре. Он там старый прицеп помнит. «Кузнечик» звали, зелёный такой.

— Она и его знает?

— Все знали. Кроме тебя, я так понимаю.

Нора знала это имя. Она семь лет избегала его, научилась при любой встрече с ним успевать прочитать на вывеске «Флорентийские ликеры» все девятнадцать разнокалиберных букв или рассмотреть на тарелке, как движется мелюзга под сахарной пылью. О том, что в новом цеху работают прямо под читаемыми фонарями, она не подумала. Вторничные часы хватали её за плечи точно с боков и не собирались отпускать. День перешёл в шумный яростный полдень, и дети, подражая машинистам, уже скандировали на велосипедах, что до ночи опять полдня и копаться в паровозном брюхе никто не обязывался.

Театр стоял на трёх улицах сразу: к главному входу вела Широкая, кому хотелось выговорить обидное примадонне — обходили белый корпус и стучали в служебную дверцу на Бусинках. С правой стороны шла Козья тропа, расписанная морской пеной на высоте третьего человеческого роста. Человек, не посвящённый в устройство театра, видел там кусочек декорации для детской пьесы или поднимающуюся мыльную краску. Знающий понимал, что в театре ровно в это время вымыли коляску императрицы из вчерашней оперы и выбили вату.

В цеху, куда Нора вошла, с потолка свисал неподкованный дракон, по лестнице спускали рыбу с завивающимися усиками и несли круглый барабан, в который легко вошла бы четверть трамвайного вагона. Внизу у стола сидел человек без шляпы, не вынимая изо рта леденца на палочке. Три табуретки одна на другую держались у него на высоте плеч. Он подпер их коленом, высверливая тонкой травяной дрелью гнёзда для длинных, как её палец, шпилек. Короткий левый башмак вяло упирался в пол. Внешне он напоминал пустую формочку для пирожка, оставленную возле слабого огня.

— Здравствуй, Грай, — сказал Феликс, не поднимая головы. — Клянусь, я получил билет за день до несчастья. Дай-ка мне твой дырокол.

Она вынула из сумки билетные клещи. Одному Богу известно, зачем таскала их даже днём, когда он и его матушка слагали в угол всю свою работу. Лин продел край красной бархатной обивки в прорезь, которая в вагоне отделяла день от ночи, прокусил ткань, подсунул под шпильку. Отпустил табуретки. Те немного потоптались и сложились гармошкой у него за спиной, открыв в середине аккуратную спинку кресла.

— Экономим движения, — сказал он. — Если партитура велит сцене тронуться в полёт, имеем три скамеечки для обеда. Пушкарь звонит в тарелочку — фью! — выходит король. У тебя там спит Эдда, разбуди поди — можно ей на спину прилепить, не проснётся. Что вытаращилась, сядь, а то все вздуются, что я новую примадонну королевскую роль тащу к себе в каморку.

Она опустилась в кресло. Оно и впрямь казалось королевским — пока с нижней стороны её в спину не ущипнуло.

— Щиплет, — сказала Нора, обычно женщина выносливая.

— Я не для короля делаю. Царь в первой сцене самомнение держит, во второй попу чешет. Ладно, что за дело?

Если бы она и рассчитывала, что он обратится к ней так, словно они вчера вместе на рынок ходили, то трудно было бы допустить, что сам Феликс непременно будет смеяться. Голос его скакал по листам картона, поставленным у стены для найма будущей мебели. Они скакали оба — застарелая злость в нём и весёлость. Нора держала собственные руки отставленными на два дюйма от коленей и жутко жалела, что они выдают гадкую потребность прикасаться ко всему, что можно поправить.

— Парень один исчезает утром из-за списков. До воскресенья надо восстановить станцию Двор ласточек. Сказали, прицеп «Кузнечик» здесь.

Лин сквозь стекло посмотрел, откуда льётся свет. До потолка у него отросли груши. Именно такие она когда-то видела в дешевом снежном балете. Только те плыли по проводам прямо к королевскому рту и волшебно пропадали, не долетая с локоть.

— Станция старая, я помню, Фабричные ещё были здесь. Артельная. Потом сняли за долги помещение. С тех пор вверх наполовину идут трамваи без пассажиров. Ты готова к главному? На прицепе у нас теперь дерево растёт.

— В смысле?

Оказалось, груши были настоящие. Развели для экономии: на оперные яблоки, антоновку к буфету, лимонную завязь. Дерево, отчаявшись попасть в землю из ящика с козлиным орехом, распустилось в пролом вагона. Под вагоном корни, как трамвайные служащие шутили, ходят в встречную смену. Феликс захромал к распахнутой расписной стене и махнул рукой, впуская её в чудесную оранжерею без крыши. Тёплый март буравил зелёные соски-груши, на стёклах застилали от солнца тонкую бумагу. За окном люди с низкими поклонами проносили вымытые коленопреклоненные ноги коровы; коровы как таковой не наблюдалось.

Внутри стоял прицеп с полукруглым настилом у дверей. В верхнем углу обнаружилось старое гнездо для двух казённых ламп. Каретный по обычаю входил сбоку, но по возможности уважали публику сзади, где на одной стороне сохранилась застеклённая кабина с лавкой из жёлтой чинары. Дерево его росло снизу вверх и насквозь: через пол, маленькое лёгочное окошечко под крышей, рассветы, чужие спектакли. Под передней осью, в полоске весеннего солнца, возлежала круглая бархатная шляпа с арбузом.

— Спасибо, что дал посмотреть, — сказала Нора, и услышала в собственном голосе немалое сомнение.

— Пока ни разу не обещал отдать.

— Что нужно, чтобы отдал?

Он подошёл к плющом объятой лестнице, вынул из кармана металлическую скрепу, закрепил её над головой.

— Честный лоб молодого человека. Будет таскать для меня вещи по ночам, откатимся через двор, перекинем к средней платформе. Можно ночью спрятать под аркой, если совсем зубы некуда упереть. Вот только, Грай, если ты опять с чужой девушкой без хвостика и со мной без колена, я в суд пойду сам. Мы долго там ждали, напортачили вы оба здорово, а у меня хвост клинулся под ногу, думаешь, про это за семь зим забыл кто?

Она выдержала его взгляд. Феликс вовсе не ждал ответа; за ним прожужжала со сводчатой улицы пчела. Трое детей крались за ней босые в надежде, что мёд канцелярского производства вот-вот выпадет из рабочей пчелы, как из кармана теряется сухарь.

— В суд пойти можешь и теперь. Я тебя встречу. А готовить прицеп мы когда придём?

— Как тебя новый ухажёр не разубедит. Ты на шее цветную вещицу таскаешь. Раньше по три смены без платка ходила.

Она тронула возле воротника холодную кромку чужого отпечатка от пигмента. От ключицы к шее тянулась синяя, как у гравюры, птичья лепта. Лиссина бандероль могла подождать. Сегодня она и её мастер с исписанными пальцами будут откапывать из-под театральной груши старую деревяшку. Господи, подумалось Норе, это ведь можно посчитать едва ли не удачным днём.

# Глава 5. Шрифт для дождя

В «Синице» уже оспаривали право Тео на собственную постель. К рассвету среды — это был второй потерянный им день — в мастерской собрался небольшой суд. Хозяин дома Осмун Гек держался торжественно и был в своей лучшей паре чулок. Таким тёплым днём скорее следовало раздеться. Рядом сидел старик с белой подушечкой на темени; Тео сразу узнал парикмахера, без которого в жизни не перемежалась ни одна именитая голова на Ласточкиной стороне. Хозяйка «Тёплых бёдрышек» сама явилась посмотреть на чудо, под мышкой держала рукомойник с нацарапанным петухом, чрезвычайно похожим на того, которым Тео подписывал незадекларированную часть заработков в счётной книге.

— Если он действительно ворожит, я ни на одного священника денег не дам. В доме лицензий на ворожбу нету, — сказал Осмун.

— Лицензия-то теперь нужна только на летних, господин Гек, — напомнил парикмахер. — Весной пользование временными счастьями в нашем уезде свободное, особенно человеку с артритом. У него, буцык, вот такая грамота, мы на празднике ремесла пять лет назад выдавали. Действительную подпись городского мастера проточной воды Берги-Марата сам видел. Снять за это можно только один этаж, и тот самый верхний, у меня там живёт дочь её мужа, сулит речи каждую субботу.

— А если в мою куриную гущу этакая примесь вольётся, — заметила бёдрышки, — я, между прочим, на Милевой ни одной условно несъедобной лапки до сих пор не продала. Подливка у меня густая, твёрдая, ложку об неё сплющишь — без посторонних духов.

Тео наблюдал из-за окна. Он стоял на месте собственной кровати: люди в раме выглядели так, как те крошечные покупатели, над которыми камера-обманка позволяет ведать каждый их хай и каждый чисто выверенный плевок в коробку мелов. И нехорошо, и оторваться почти невозможно. Он присел на незнакомый подоконник. Огромное белое здание на другой стороне было в его детстве тогдашней мастерской по изготовлению частей уличных часов. Теперь за окнами люди вытирали усы, с досадой обнаруживая на тряпке тыквенные семечки: днём здесь торговали горячим тыквенным пюре. Тео мечтал со временем получить заказ на их новую вывеску. Можно было бы поставить любимую тыкву на деревянных колёсиках и не спеша вычислять ей усатость по длине усов обедающего вкусоведа.

На коленях лежало письмо матери — правда, из изнаночных предметов. Грай затеяла передать его днём, через щель между минутами: поднять листок вверх и стоять так одну минуту, пока он мысленно копирует каждую строку в своём непропечатанном мире. Чернильный карандаш на его пальцах появился настоящий — из тех, что он всегда держал под рукой; вот только поперечный надлом пошёл дальше, чем тот, который он сам чинит ниткой. Тео переписывал. Почерк матери был такой, что стоит, к примеру, уронить свежий клочок на мокрый камень — расплескается «молчаливо обнимаю вас обеих», а поднимешь и обсушишь — уж не сомневаешься: «молоко и ветчина, отсюда взять обеих». По стране этот дар выражаться по всяким обстоятельствам своей рукой до сих пор оценили немногие.

В письме было: «Снилось, Инга, как повесила чистый передник на смоленской двери, а с утра в руки беру — пустые жёсткие ленточки. Во сне всё уходит вверх. Выйди как-нибудь с Зарей попеть к старому дверному косяку, помнишь? Там высота такова, что тебя слышно со всей улицы, не то что у нас». Дальше: «Тут год уже краски такие дорогие, что просительница спрашивает в окно, за что золото серебром засыпали. Ещё одна рюмка у нас лопнула, сколько раз зарекалась. Ты людей туда больше не веди. Свой дом надо иметь, прежде чем делить с кем-либо, а у бывшего Двора теперь хозяина никакого нет, коли судебные чиновники в него раз в пять лет играют». И в конце: «Если брату попадётся это письмо, возьмёт и сам отпишет

матери в её старом гнезде, не растрати сумму на фарфор. Я его кувшины люблю, разливать из них нечего».

Нора, подавая письмо, обратила листок правильной стороной к стеклу. Он видел её щеку, когда она прикидывала, где должны возникнуть его пальцы — мило, подобного участия не испытал Дорн в жизни, когда даже мать косо прикладывала свернувшуюся на солнце тряпку к синяку на его лице: «Туда или сюда? Будь любезен, скажи. Мне ещё вести опись». Он показал в окно, какой требуется угол, но жест увидело лишь существо с охровым прочерком от родинки, стоявшее рядом с ним во дворе. Оно носило его вчерашнее пальто. Тео медленно выдохнул, не желая оборачиваться. Сзади всегда кого-либо находишь, если не успеешь отпрянуть — чаще всего собственную глупость. Оно деловито и по-дружески положило руку ему на плечо. Грай, в окне, в ту же минуту отвернулась от света.

— Мне здесь не нравится, — сказал Тео.

— Мне тоже, — отозвался собственный голос, — но пришлось жить и этим.

Он взглянул теперь правильно, через левое плечо. Там стоял он сам образца лет четырнадцати-девяти, точный его возраст зависел от того, давно ли пробежали перед ним роковые мгновения. Нос, как у мыши с неразрезанными углами рта. Покусанные руки, пушок по краям висков до самого воротника. При жизни он выхлопывал его мокрой ладонью в укромном месте между глоткой и сухим листком, таким уж гадким казалось собственное ушко. Он вспомнил, что именно на этом ухе порвал когда-то кончик, когда они с Ингой пробрались в мастерскую к старикам-кукольникам и приспособились в пустом зале клеить человечков к колёсикам. Затем, наутро, у Инги был разодран подол, у него — ухо, а в мастерской куклы стояли на своих местах и ничем более не интересовались.

— Сколько тебе? — спросил Тео.

— А как это узнать, если у тебя нет бумажки?

— Запястье.

У мальчика была цепочка толщиной с рыбью кость: на ней до отъезда прятались два медных звена, крепившиеся к бусам на материной сумочке. Под рубашкой виднелась полоска ещё мальчишеского белого шёлка. Он не имел привычки до двадцати трёх лет носить шёлк, зато в Дворе имелось шестнадцать сундуков купленного за гривну обреза.

— Ты поедешь со мной? — спросил Тео.

— Ты меня тоже не видишь, разве самому не ясно? Ты в мой возраст всунулся, а сам на мастерскую мышей смотреть хочешь. Еще бы не сам! Положи тётке рюмку валерьянки, попроси, чтобы она сегодня пошла на службу позже на четверть часа. Увидишь, кто к ней придёт.

Мальчик исчез. В реальном мире у окна Осмун потянулся к солонке и украдкой посолил кусок хлеба. Нора тем временем отперла футляр с заказными сапфировыми эмалями и прикрыла пальцем пять прозрачных пузырьков, чтобы стук их не выдал её волнения чужому дому. В руках у неё была кисть. По-настоящему держала, за почти не крашеную шейку!

— Грай, — позвал он. — Контролёр, зачем вы меня сдали в счётную палату?

Она подняла бровь и, словно слышала, разом взяла два пузырька в одну щепоть. На стекле в разбелённом окошке появилось два длинных вопросительных знака. Нора подняла крышку кадки, где по обычаю ждали работы начатые до половины настенные доски для демонстрации: рекламная свеча пахла не розой с вытертой вывеской, а чистым настоящим дёгтем. Вещь, вещь, вещь! — сердце его забилось в гортани. Ему нужно было что-то своё, в чём его рука оставила ясный, видимый след.

Тео коснулся пальцами ближайшего стекла там, где была высохшая красная жилка на нарисованной розе. Сквозь стекло пошла рябь. Струйка воздуха узким ручейком разделила ему кожу на ладони и поползла по запястью. Кисть, которой он пользовался во сне, короткий

миг отпечаталась в действительной руке Норы. Он раскрыл ладонь: рука у неё была сильная, широко расставленные ногти заботливо выстрижены до рабочего края. Она раскрыла свою.

— Привет, — сказал он, на этот раз одним ртом. Мать учила в детстве читать по губам: ходить на конце двора с другого бока и считать, кого гонят к обеду. В красильне шум стоял вовек не спадающий.

Он получил в ответ:

— Поспорила, что ты не колданул ни одной куриной кости.

— Это правда. Она даёт много славного жиру и не годится для серьёзной ворожбы.

Губы её вздрогнули. Никто, кроме него, не услышал глубокого хрипловатого звука, которым она включала свой смех. Мазки на вывеске легли в направление настоящей жизни. Теперь ему предстояло продолжить фразу вслух: в углу за кадкой стоит ящик, за ним карман для двухпёрых кистей, и одна чудесная авария прячется под тремя планками тёмного дерева, рыхлыми от сушки.

Им помешал Гек. Он оттолкнул Нору, выдернул печатную розу за обыкновенный, без единой молдинговой полосы медный край и выставил её вперёд: «Вот видите. Полная благопристойная гравюра! Так я и говорил, ничего тут нет». По этому случаю парикмахер вынул из жилета нож для стрижки ушей и нахлобучил подушечку на голову ещё плотнее: у него под ней была лысина с пластырем. Зачем? Неужто кто-то лил на него из тех маленьких тазиков с кремом, которые ввезли со станции Лосочной? Тео почувствовал дурноту. Рука на щеке кондукторки ушла по ту сторону стекла. Яркий свет дохнул на него с подоконника вымышленной комнаты. Он поспешно убрал из инвентаря стекло.

— Сейчас пять минут прошло? — спросил он комнату. За настоящим окном было семь вечера. Грай исчезла, гости исчезли, на столе осталась пустая сдобная ватрушка от одного зуба. Земля поворачивалась с какой-то жуткой по его меркам скоростью.

Изнанка милосердно дала ему спокойно прожить последние часы дня. Он тщательно собрал по картинкам в папки свой выдуманный почётный счёт из управы, взрослые шнуры от замков, оставив пользоваться ими тому, кто согласится уместиться в этом доме на час вместо него. В последний час до темноты он пересел на шкаф, чтобы снизу не хватало ложное любопытство: по закону его несбывшегося дома с витражной книги на пол, как оторвавшиеся лепестки, валились нарисованные люди. Они расползались на ветвистые узоры в их потайных светах. Люди эти каждый приблизительно на одну четыреста пятьдесят четвёртую настоящего человеческого роста, но если рассматривать, прицепившись к их краю ботинка глазами, у каждого есть рот и нос, на костюмах пуговки, у некоторых кто-то ждёт у трамвайного фонаря. Один из них, похоже, курьер-летучка, нёс за чужим поездом зелёное письмо. Ни дать ни взять история дурного вторника, способная случиться даже с гравюрой моложе полчаса от роду.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.